

Librarium

МАРСЕЛЬ
ПРУСТ
УТЕХИ И ДНИ



РИПОЛ КЛАССИК

Librarium

Марсель Пруст

Утехи и дни

«РИПОЛ Классик»

1896

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

Пруст М.

Утехи и дни / М. Пруст — «РИПОЛ Классик»,
1896 — (Librarium)

ISBN 978-5-386-10795-6

Дебютная прозаическая книга Марселя Пруста «Утехи и дни» (1896) – литературный эксперимент «прекрасной эпохи», манифест эстетической отрешенности, вышедший в атмосфере нескончаемых писательских споров и конфликтов. Короткие новеллы книги – мастерские зарисовки и одновременно размышления о природе искусства и соизмеримости искусства с жизнью. Ранняя книга Пруста помогает разобраться в механике его великого романа и при этом не раз заставляет пережить восторг перед непостижимостью мира. В предисловии к изданию профессора РГГУ А. В. Маркова объясняется литературный и культурный контекст создания книги. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)5-44

ISBN 978-5-386-10795-6

© Пруст М., 1896
© РИПОЛ Классик, 1896

Содержание

Рассвет Пруста	6
Предисловие к первому французскому изданию	12
Предисловие к первому русскому изданию	13
Моему другу Вилли Хату, умершему в Париже 3 Октября 1893 г.	15
Смерть Бальдассара Сильванда, виконта Сильвани	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Марсель Пруст

Утехи и дни

Marcel Proust
Les plaisirs et les jours

© Марков А. В., вступительная статья, 2018

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

* * *

Рассвет Пруста

Есть писатели, подводящие итоги своему поколению, своей эпохе, пережитому или не пережитому за отведенный им срок жизни. Пруст выделяется среди них тем, что подводит итоги исканиям сразу множества поколений, – во всяком случае, нескольких поколений Франции после Наполеона, – и говорит не просто о завершении эпохи, а о возможности одной эпохи очароваться другой, заглядеться в нее как в зеркало. Конгениален Прусту, вне сомнения, Лев Толстой, показывавший несводимость жизни как целого к опыту отдельных персонажей. Но для Пруста было важнее показать, как возможен персонаж, который может вообще как-либо отнестись к жизни как целому. В великом романе Пруста таков персонаж, вспоминающий себя, но при этом не торопящийся самоуверенно настаивать на своей неизменности, а попросивший у времени отсрочки собственным неизбежным заблуждениям. В «Утехах и днях», произведении очень юношеском, рассказывается о разных отсрочках: любующейся и робкой, задумчивой и ликующей. В любом случае, когда очередной герой этой небольшой книги показывает себя, время должно немного подождать в недоумении, как перед чем-то небывалым, даже если речь идет о мелочах и подробностях светской жизни.

Казалось, ни природой, ни воспитанием Марсель Пруст не был направляем к тому, чтобы стать великим писателем. Отец его, Адриан Пруст, врач-эпидемиолог, уже к рождению сына был европейской знаменитостью, а его высокое положение, с годами только укреплявшееся, обязывало слишком ко многому – например, в защиту Дрейфуса он смог говорить только через своих учеников. Адриан Пруст внимательно изучал санитарный опыт разных стран (в том числе, как в России организуется карантин) и давал советы всему миру по здоровому образу жизни. Но если мы бы побывали в его квартире, где Марсель и прожил почти до тридцати лет, то мы бы не увидели там никакой легкости, которая для нас сопровождает мысль о здоровом образе жизни. Тяжелая мебель, панели и ковры, глубокие пещеры важности, при этом в новейшем доме с ванной и лифтом, недалеко от вокзала Сен-Лазар на обустроенном бароном Османом бульваре самоуверенных архитектурных новинок, всё это меньше всего вязалось с будущим дендизмом Марселя – в этих комнатах, казалось, никогда не сможет задержаться легкомыслие вместе со своим свойственником вдохновением.

Год рождения Марселя Пруста, 1871, был годом поражения Франции в войне с Германией, взрывом Парижской коммуны, ямой разорений и разочарований, нехватки самого простого продовольствия в городе, когда даже молоко надлежало добывать с большими усилиями. Чувствительность была назначена мальчику как светским воспитанием в эпоху, когда все светское должно было заново пробивать себе дорогу в век позитивизма, и значит, так остро переживать свою ненужность, чтобы обретать лишь в себе новые силы для бытия, – так и состоянием тогдашней медицины. Тяжелейшая болезнь будущего писателя, астма, в те времена имела во мнении светил медицины не биологическую, а психологическую этиологию. Считалось, что астматический кашель – это особое нервное состояние; и достаточно спокойных занятий и регулярных гигиенических процедур, чтобы ослабить симптомы. Марсель привык к этой спокойной строгости наблюдений за собой, но недуг навсегда остался с ним.

В 1882 г. Марсель выдержал экзамены в лицей Кондорсе, где часто недужно отсутствовал на занятиях, но пылкая дружба и благоговение как перед преподавателями, так и перед товарищами определяли его стремительный духовный рост. В школьные годы он знакомится с двумя важнейшими товарищами, Люсьеном Доде, сыном романиста Альфонса Доде, и Жаком Бизе, сыном прославленного композитора, и уже не представляет жизни без общения с ними. Отношение к ним у него было особое: смесью застенчивости и требовательности, желанием видеть каждую минуту жизни своих друзей и при этом страсть к письму, которое и даст нужное место всем вольным мыслям и чувствам. Эта особая заинтересованность, конечно, формиро-

вала писательский дар Марселя, не меньше чем школьные сочинения, в которых нужно было отстаивать какой-то тезис: здесь ему надлежало отстоять самого себя.

Но кроме этих друзей, интерес к которым был больше чем дружбой, будущий прозаик охотно общался с будущим живописцем Морисом Дени, одним из создателей группы «Наби» (1890–1905, в переводе с древнееврейского «Пророк»), которые следуя густому аллегоризму де Шаванна, всем этим образом «вечной весны» или «сна», возвещали о способности искусства преодолеть не только сковывающие привычки и артроз чувств, но и время. Пруст и Дени одинаково чтители философию Бергсона (мужа кузины Пруста!), а любовь к новой философии им привил, с одной стороны, их учитель философии Альфонс Дарлю, а с другой стороны – еще один лицеист, Фернан Грег, который в 1896 г., вспомнив о лицейских товарищах, решил собрать их в журнале «Пир»: в этом издании, наравне с набросками Пруста, печатались и работы Бергсона. В «Пире», хотя журнал просуществовал меньше года, хотели увидеть свет многие, например, Леон Блюм, будущий премьер-министр социалистического правительства, который тогда публиковал небольшие эссе, а потом в 1901 г. создал новые разговоры Эккермана с Гёте, в которых обсуждал от лица мастера современную литературу от «Анны Карениной» до «Крестового похода детей» Марселя Швоба. Дарлю, которого Пруст бесконечно чтит и благоговейно поминал в том числе в начале «Утехи и дней», создал «Журнал метафизики и морали», с целью противопоставить новую науку дилетантским рассуждениям моралистов, и на страницах журнала появился однокурсник Бергсона социолог Эмиль Дюркгейм, чьи идеи о разделении общественного труда очень близки отказу Пруста рассматривать общество просто как борьбу интересов: общество оказывается соперником природы по непредсказуемости, – и как природа в конце концов обретает покой в пространстве, общество должно найти покой во времени.

Философия Бергсона очень важна для понимания всех замыслов Пруста. Бергсон утверждал, что ни материя, ни форма не обладают достаточно длительной памятью, чтобы игра бытия никогда не промахивалась мимо нее. Поэтому память – единственный мир человека, в котором он у себя дома. Когда 14-летний Пруст, отвечая на вопросы анкеты Антуанетты Фор, дочери будущего президента Франции Феликса Фора (а мода на анкеты английская) заметил, что хотел бы жить «в стране идеала, точнее, моего идеала», он этим притяжательным местоимением лучше всех учебников обозначил философию Бергсона, в которой важнее всего не переживание времени, а способность сохранить себя и свое переживание его даже в виду несомненности идеала.

Пруст-лицеист стремился найти идеал особого рода, о чем тоже говорил в анкете, что он не может назвать любимый цвет, потому что все цвета – любимые, и не способен назвать любимый цветок, потому что не разбирается в цветах. Он смотрел на цветы как на принадлежность салонов, на необходимое сопровождение тех переживаний, которые только тогда для нас окрашены, когда мы не привязываем их к готовым ситуациям. Таков и был Пруст, в школьные годы издававший рукописные журналы в лиловых тетрадках, следивший за блеском манишки, а не просто белизной, и способный увлечься женской красотой, только бы она была не только стыдливой, но и удивительной. Так он увлекся Марией Бенардаки, будущей Радзивилл, которая стала прототипом Жильберты Сван в его романе – внучкой Дмитрия Бенардаки, создателя Сормовского завода под Нижним Новгородом и греческой церкви в Петербурге (всем нам известной из элегии Бродского «Остановка в пустыне»), спонсора второго тома «Мертвых душ» Гоголя, выведенного там под именем Костанжогло; дочерью Николая Бенардаки, бывшего церемониймейстера, придворного генерала, лишившегося службы за женитьбу на разведенной и уехавшего в Париж. О его жене злословили в России, что ее волнует лишь шампанское и любовь, но то же самое о ней за спиной говорили и в Париже. Увлечение Марией было сильнейшим, но Пруст женщин побаивался: когда отец отправил его за взрослением в дом постыд-

ных удовольствий, Марсель не просто не выполнил ту единственную задачу, которая была ему поставлена, но случайно разбил ночную вазу, что пришлось оплачивать дополнительно.

При этом в женские салоны он был более чем вхож. Так, мать его товарища Жака Бизе Женевьева, которая овдовев (великому композитору было всего 37 лет), стала потом женой богача Штрауса, была самым желанным корреспондентом Пруста. В мадам Штраус его привлекала способность перевоплощения, играть любые роли без всякого нажима или нарочитости, просто избирая тот образ жизни, который сейчас желанен – а роль уже последует за ним. Другой салон, госпожи де Кайаве (прототип госпожи Вердюрен в романе), возлюбленной Анатоля Франса, одарил Пруста множеством впечатлений и предисловием мэтра к «Утехам и дням». Этот салон стал за два года до выхода «Утех и дней» штабом защитников Дрейфуса, в противовес салону мадам де Луан, молодой возлюбленной которой, Жюль Леметр, охотно возглавил противников Дрейфуса. Неприязнь Пруста к литературному импрессионизму Леметра, с убеждением, что, дескать, нет ничего, кроме впечатлений, оказалась в очередной раз более чем оправданной.

Важным опытом, подготовившим «Утехи и дни» за несколько лет до их выхода отдельной книгой, стала для Марселя Пруста служба в армии в Орлеане: он записался в добровольцы – что обязывало покупать обмундирование и амуницию на свои средства, но служить тогда разрешалось всего лишь год вместо положенных пяти. В опроснике, заполненном по окончании службы, Пруст заметил, что самый замечательный момент всемирной военной истории для него – когда он записался в добровольцы. Это, конечно, не мания величия, а просто единственный способ осмыслить военную историю как нечто значимое не только для полководцев, которые сами путаются, кому подражают, и поэтому уж никак не способны оценить, какое событие военной истории самое важное. Марсель в дни службы так пугался выстрела собственного ружья, что забывал прицелься, астма его не давала спать солдатам, пришлось устроить ему кровать в конторе, но и там он не стал писарем из-за того, что его почерк был слишком беглым и капризным. В конце концов он был переведен ближе к Версалу, и Версаль стал одним из мест-героев «Утех и дней». Пруст гордился тем, что во время службы мог отдать честь внуку Наполеона I Шарлю Валев-скому от Марии Валевской, той самой, которая навещала поверженного императора на острове Святой Елены, сыну Александра Колонна-Валевского, любовника знаменитой актрисы Элизы Рашель («так, негодующая Федра, стояла некогда Рашель»), и Марианны де Риччи-Понятовской, любовницы Наполеона III. Армейская дисциплина только усилила в Прусте англomанию, которая его как переводчика Рёскина сопровождала всегда – английский дух был для него духом автономии, которая не покушается на соседей ни своими законами, ни своим гордым самоутверждением, но просто только так позволяет культуре прожить расстояние между одним и другим открытием формы.

Итак, «Утехи и дни» создавались во Франции, накаленной спорами вокруг дела Дрейфуса, не просто поссорившего писателей, но подорвавшего навсегда идею единой национальной литературы. Оказалось, что нет просто литературы, которая создается присутствием в ней чувств или мыслей: напротив, изобилие чувств может только повредить действию лучших книг. Важнее всякого наполнения страниц мыслями и чувствами переключки между совестливыми книгами, при чтении которых можно не только задуматься, но и поговорить с собой, пока бытие разучивает гимн, предложенный ему чутким литератором. «Утехи и дни» не могли бы состояться без опыта салонов, где родство, знакомство, дружба и любовь не могут быть только предметом хвастовства, как в старой светской жизни, – но становятся вещью благоговейной стыдливости, которая одна лишь и может снискать достойное литературы уважение. Наконец, при всем трагикомизме и армейской службы Пруста, и его сдачи экзамена, и недолгой юридической практики, прерванной тяжелым ходом болезни, этот опыт отрешенного взгляда на мир и сформировал его умение схватывать в беглом сюжетном повествовании те черты мира, которым хочется побыть подольше с читателем.

Нужно немного объяснить название книги двадцатипятилетнего Марселя Пруста. «Утехи и дни» – напоминание о названии моралистической поэмы Гесиода «Работы и дни», посвященной годовому циклу работ. Для Гесиода благоразумие и своевременность работ не просто помогут вести хозяйство наилучшим образом, но и сделают его каким надо, придадут ему наилучшую форму. Пруст говорил об утехах, которые тоже должны стать наилучшими, должны стать той формой, которая только и может растрогать, которая только и может помочь пережить всю жизнь как единую сердечную заинтересованность.

Рассказы «Утех и дней» изображают разные варианты необходимого расставания с идеалом. Мучительно умирает виконт и, подрывая все представления племянника-подростка о блистательной красоте явления аристократа, впервые наставляет его заботиться о себе и не стыдиться нежных чувств. Виконтесса, совсем другого рода, впервые узнает телесную любовь, и понимает, что если настоящую искру любви не вмещает ее взор или нерв, то тем более не вместит сжавшаяся от страха душа. Новые Бувар и Пекюше, герои знаменитого романа-памфлета Флобера, пытаются стать писателями-импрессионистами, считая, что искусство передаст им дар перевоплощения и тем самым избавит от пошлости. Госпожа из высшего общества пытается понять его механику, чтобы разгадать, как именно люди вызывают у других людей интерес и влюбленность, – и в результате находит себя в обмороке неинтересного. Девушка, раскрывающая свою порочность лишь как слабоволие, вынуждена признать, что слабоволием можно объяснить только поступки, но не чувства, лежащие глубже любых поступков. Воспоминания об аристократии былых времен за обедом оказываются разве что необязательным поводом к небрежности мыслей и чувств. Калейдоскоп воспоминаний учит, что явиться вовремя в мир пейзажа или в мир музыки важнее, чем развить в себе сверхчувственность. Наконец, трагикомические сцены ревности оказываются аргументом для самой живой жизни – уже не быть прежней.

Таков кратчайший конспект «Утех и дней». Но важнее в этой книге не сюжеты, а общее отношение к речи и молчанию, воспоминанию и впечатлению. Пруст отказывается от литературной техники постепенного знакомства читателя с героем: если герой рассказывает о себе, то он сразу говорит, что все его или ее тайны уже выданы, и поэтому не надо думать, что умение следить за судьбой героя может научить проникновенности чувств или глубине нравственного долга. Лучше при чтении о герое проследить за своей судьбой: посмотрев, как герой или героиня пугается тени своих же поступков, попадает в переплет своих же вроде бы самых простых переживаний, мы лучше понимаем, что смотреть на вещи просто – не значит стать понастоящему искренним.

Герои книги Пруста, хотя и принадлежат к высшему обществу, вовсе не «сложные» люди, вовсе не люди с тонкой нервностью, как это было бы у писателей-импрессионистов. Напротив, они всё делают просто: они знают, при каких условиях в них вспыхивает любовный жар, а после какого воспоминания они точно устыдятся самих себя. В этом и гениальность Пруста: он не выводит проблемы людей из их сложности, из порчи, отличающей светского «сына века» (как некогда сказал де Мюссе) от первоначального человека глубокого и потому якобы с полной ответственностью переживаемого чувства. Наоборот, его герои прекрасно знают, чего они хотят, знают границы своей мечты, очертили круги для своих поступков и замыслов – но при этом они все равно терпят крушение, пока живая жизнь не обратила на них своего пристального внимания и не объяснила, что лучше прожить скучную заботу о самих себе, чем отдаться спонтанным переживаниям, которые становятся уже порчей века, а не отдельного человека. Лучше светлая меланхолия заботы, чем темная меланхолия порчи.

Наконец, важно мастерство Пруста, его умение останавливать внимание не просто на деталях, а на тех магнитных полях, в которых вещи только и заняли привычные им и благие для них места. Эта астрофизика Пруста далека от той простой «детализации», любующегося внимания, которое возникло бы в литературе и без него. Любой другой писатель мог бы, постарав-

шись, описать, скажем, слабое пламя свечи, вызвав целую гамму чувств. Но говорить о «нетерпеливости» или «нетерпеливости» свечи, о способности роши «ждать» или дома – гадать о собственной крепости, это мог только Пруст, и не один раз, а в каждом слове. Не вызвать взрыв чувств или убаюкивающее их колебание, но показать, как прочувствованность природы только и может диктовать единственный закон нашим догадкам – это задача Пруста.

После выхода книги едва не случилась дуэль с Жаном Лорреном, поэтом фей и деталей, которому книга Пруста однозначно не понравилась. Браня книгу, Лоррен метил скорее в Анатоля Франса, стремясь обвинить писателя в том, что такие как он любят не радости жизни, а свою маленькую славу, что они готовы производить шум вокруг чего угодно. В целом рецензия была не особо злая, даже отдающая должное искусству молодого автора, но в конце стоял ужасающий совет, что к следующему тому этих бесконечных любований должен написать предисловие славный Альфонс Доде, вообще непримиримый в вопросах стиля, но который на этот раз не сможет указать как надо писать. Это был коварный намек на чрезмерную, начавшуюся в лицее, дружбу Пруста с сыном Доде Люсьеном. Лоррен, денди и наркоман, увлекавшийся мужчинами и при этом состоявший в близких отношениях с Лианой де Пужи, танцовщицей и романисткой, которая стала прототипом прустовской Одетты, интимной подругой поэтессы Натали Клиффорд Барни, той самой роковой для всего Парижа американки, в которую был влюблен Реми де Гурмон, а через много лет она же счастливая жена, мать и монахиня, опекавшая умственно отсталых детей, – некогда едва не подрался на дуэли с Мопассаном, товарищем юности, которого окарικатурил в одном романе, так что и новая дуэль, к счастью, не состоявшаяся, была предрешена.

Вероятно, слух о дуэли привлек некоторое внимание к книге, но в целом она долго оставалась непрочитанной и ценимой немногими. Ее не признавали своей ни импрессионисты, как главные враги Пруста, ни символисты, с их поспешным возведением мостов от тонкости стиля к тонкости духовной проницательности – Пруст всегда напоминал, что ассоциативные мосты только мешают побывать на действительно торжественном бракосочетании смыслов, а пестование символов оскорбляет столь необоримую дружбу самых подходящих слов. Только великий роман Пруста объяснил широкому читателю, что воспоминание не измеряется количеством срочных уроков, но лишь срочностью действительно пережитого.

На русский язык «Утехи и дни» перевели Е. Тараховская, родная сестра поэтессы Софьи Парнок, сценарист фильма А. Роу «По щучьему веленью», и Г. Орловская. Редактор советского издания, Евгений Ланн, поэт и филолог, автор книг о Диккенсе и о литературных мистификациях, в поэзии последователь Максимилиана Волошина, был мэтром «буквалистов». В истории советского перевода буквалисты, торжествовавшие в 1920-е годы, со временем уступили место сторонникам художественного перевода, часто далеко отступающего от оригинала ради того, чтобы создать более цельный и сходный с духом оригинала образ: если буквалисты были гегельянцами, для которых буква участвует в диалектике Духа, то художественный перевод – кантианский, здесь важно, чтобы дух сразу присутствовал в произведении, независимо от тех конструкций, с помощью которых мы его понимаем. Евгений Ланн в чём-то был похож на Пруста, хотя салоны заменял ему театр – он был влюблен в актрису театра Вахтангова Любовь Синельникову и считал, что учится у нее ощущению бытия как постоянно усыновляемого смыслом. Пруста в те времена пытались переводить многие и в России, и в эмигрировавшей России, в частности Галина Кузнецова, возлюбленная Бунина, решившая создать и прустовство в своих стихах, например:

О, как легко над временем взлетать!
Лети, лети, лазурная трирема!
Отсюда нам не трудно вспоминать
Сверкающие пастбища Эдема.

Конечно, такой вариант воспоминания слишком напряжен, но Пруст бы оценил, что и в самом бурном полете, преодолевшем время, может быть «не трудно». Пусть легкость Пруста пребудет и с любым читателем этой книги. Дышать уже не будет больно, а поминать Пруста можно теперь с достаточным благоговением для того, чтобы его разглядеть.

А. В. Марков,

Профессор РГГУ и ВлГУ, в.н.с. МГУ имени М. В. Ломоносова

25 марта 2018 г.

Предисловие к первому французскому изданию

Почему он попросил меня рекомендовать его книгу вниманию любопытных читателей? И почему я обещал ему взять на себя этот чрезвычайно приятный, но бесполезный труд? Его книга подобна юному лицу, преисполненному редкого очарования и изысканной прелести. Она сама рекомендует себя, сама за себя говорит и, не желая того, сама предлагает себя читателю.

Несомненно, книга эта молода. Она молода молодостью автора. Но в то же время она стара старостью мира. Это весна листьев на древних ветвях столетнего леса. Кажется, будто новые побеги хранят печаль вековых лесов и носят траур по бесчисленным умершим веснам. Важный Гесиод посвятил пастухам из Геликона, пасшим коз, свои «Труды и Дни». Если, как утверждает английский государственный муж, жизнь может быть сносной без утех, – то и тогда книга «Утехи и Дни», посвященная светским людям – мужчинам и женщинам, – все же была бы печальнее «Трудов и Дней». И в книге нашего юного друга мы найдем усталые улыбки и утомленные позы, не лишённые, однако, ни красоты, ни благородства. Но в сочетании с необычайной наблюдательностью, гибкостью, проницательностью и подлинной тонкостью ума печаль этой книги в том виде, в каком она дана автором, покажется читателю приятной и разнообразной. Этот календарь Утех и Дней отмечает прекрасными изображениями неба, моря и лесов – дни природы и точными портретами и законченными жанровыми картинами – дни человека.

Марсель Пруст с одинаковым удовольствием описывает наскучившее великолепие заходящего солнца и суетное тщеславие сноба. Мастерски он изображает изящные горести и надуманные страдания, не уступающие, по крайней мере в своей жестокости, страданиям, которыми с материнской расточительностью наделяет нас природа. Я должен сознаться, что эти надуманные страдания, эти найденные человеческим гением горести – горести, созданные искусством, – кажутся мне бесконечно интересными и ценными, и я благодарен Марселю Прусту за то, что он изучил, с большим вкусом отобрал и описал несколько таких переживаний.

Он заманивает нас в тепличную атмосферу и держит там среди мудрых орхидей, чья странная и болезненная краса не вскормлена земными соками. Внезапно в насыщенном и восхитительном воздухе пролетает светящаяся стрела, молния, пронзающая тело, как луч немецкого доктора. А одной стрелой поэт проникает в глубину сокровенной мысли, невысказанного желания. В этом его манера и его мастерство. Делает он это с удивительной для такого молодого стрелка уверенностью. Он вовсе не невинен. Но в нем столько искренности и прямоты, что благодаря этому он кажется наивным и таким нравится нам. Он напоминает развращенного Бернардену де Сен-Пьера и наивного Петрония.

Счастливая книга! Она пройдет по городу, разукрашенная, благоухающая цветами, которыми осыпала ее Мадлен Лемер, расточающая своей божественной рукой и розы, и росы.

Анатоль Франс <1896>

Предисловие к первому русскому изданию

Мы как будто знаем современную литературную Францию. Переведены сотни книг современных французских мастеров, за истекшие несколько лет мы узнали десятки новых крупных имен. Мы следим за французской литературой сегодняшнего дня с большим вниманием, чем в дореволюционные годы; по статьям наших критиков и заметкам рецензентов мы знаем кривую ее послевоенного развития.

И однако, наша осведомленность весьма относительна – до сих пор мы не знаем Пруста! А ведь по неполным данным, имеющимся у нас, о Прусте с 1919 года во Франции написано сто пятьдесят пять статей и очерков, о нем издана монография, а в Англии, Америке (США), Германии, Бельгии и Швеции появилось восемнадцать очерков, не считая тех девяти, что были помещены в специальном номере «Nouvelle Revue Française», посвященном памяти Пруста, и подписаны были именами английских критиков.

Не всегда показательны цифровые данные, но в этом случае их убедительность сомнений не вызывает: Марсель Пруст – крупнейшее явление французской литературы, явление настолько значительное, что с выпадением Пруста из нашего поля зрения искажается для нас лицо сегодняшней литературной Франции. Подчеркивая принадлежность Пруста сегодняшнему дню, мы имеем в виду не только влияние Пруста на молодых французских романистов (Eugene Monfort в «Les Marges» за август 1924 г. останавливается на этом влиянии). Хотя Пруст умер в 1922 году – и по сей день еще не закончен печатанием основной труд его жизни – роман «A la recherche du temps perdu» («В поисках утраченного времени»), роман, который Пруст вначале хотел назвать «Содом и Гоморра», а затем, изменив это первоначальное решение, озаглавил «Содом и Гоморра» пятую часть своего романа – в три тома. Этот многотомный роман (редактирование которого взял на себя после смерти Пруста Jacques Riviere, умерший совсем недавно) еще и в наши дни целиком не опубликован (ныне последнюю часть романа «Le temps retrouve» – «Обретенное время» – редактирует Робер Пруст, брат писателя), и тем самым Пруст остался в «сегодняшнем дне» не только в силу своего влияния на молодых писателей Франции.

«A la recherche du temps perdu» – стержень творчества Пруста, и, разумеется, рамки настоящего предисловия не позволяют остановиться на этом романе, архитекtonика которого, по мнению некоторых французских критиков, напоминает Дантову «Божественную комедию». Когда русский читатель познакомится с трудом всей жизни Пруста – неизвестно, ибо в романе – не меньше 15 книг. Но тем более необходимо познакомить читателя с предлагаемой книгой «Les plaisirs et les jours», которой Пруст дебютировал; в «Утехах и днях», изданной в 1896 г. с предисловием Франса, иллюстрациями Мадлен Лемер и четырьмя этюдами для фортепьяно Рейнальдо Гана, уже предощущается зрелый Пруст.

Писателю было двадцать пять лет, когда он издал свой первый сборник рассказов. Родился Пруст в июле 1871 года. Отец его был француз – видный профессор-медик, мать – еврейка, урожденная Вейль, из богатой буржуазной семьи. Воспитывался Пруст вначале дома, а затем был отдан в лицей Condorcet, где многим был обязан своему профессору риторики Дарлю; влияние последнего сказалось в любви Пруста к занятиям по философии и привело его к бергсонизму. Вопреки желанию отца, предназначавшего сына для карьеры дипломатической, Пруст дипломатом не стал. После окончания лицея он поступил в Сорбонну на юридический факультет и, окончив его, пробыл месяц в конторе адвоката, пытаясь убедить себя, что лучшая для него профессия – спокойная работа нотариуса. Юридические науки нисколько Пруста не интересовали, но на этих поисках «спокойной» профессии нотариуса сказалось влияние той мучительной болезни, которая позволила писателю дожить до пятидесяти лет только благодаря исключительной его сопротивляемости физическим страданиям.

Болезнь эта – астма. Первый ее приступ у Пруста был, когда ему исполнилось девять лет, и с той поры до самой смерти своей писатель был «обреченным» – рисковал задохнуться с первым же ее приступом, ибо астма у него была в крайне тяжелой форме. Жизненный путь Пруста трагичен, и едва ли не сознание, что болезнь его смертельна, толкало Пруста в дни его юности погружаться в пьянящую светскую жизнь, пить «сегодняшний» день до конца, до капли, ибо «завтра» могло и не наступить.

Но «завтра» настало. С 1905 года Пруст целиком отдается литературе. Он входит в литературу с неисчерпаемым запасом психологических наблюдений – запасом, собранным им в течение двенадцати лет его светской жизни и лишь частично использованным в «Утехах и днях». Расплатой за «утехи», добровольно принятой, явились для Пруста «дни» напряженного, нечеловеческого труда над своим романом. Обособившись от мира внешнего, отказавшись от всех внешних впечатлений, которые он уже не мог выносить из-за прогрессирующей болезни, писатель ушел от жизни для работы. Работать он мог только по ночам, ибо днем задыхался; он жил и писал, напрягая всю свою волю, чтобы преодолеть страдания; раздражения органов чувств были ему уже непосильны – в последние годы он должен был жить в совершенно изолированной комнате, обитой пробкой, которая заглушала все звуки, доносившиеся извне. Получив в 1919 году премию Гонкуров, он умер 18 ноября 1922 года, не успев целиком опубликовать свой роман.

«Утехи и дни» – тонкая книга. Снобизм в ней – мнимый. Всегда Пруст видел «светских» людей в должном освещении, никогда он не был ими одурачен. Leon Pierre Quint, автор монографии о Прусте, вспоминает, как часто в разговоре о них писатель повторял: «Ah! qu'ils sont idiots!»¹

Стиль Пруста – предмет монографии. Периоды нередко простираются на целую страницу, и посему перевод Пруста на другой язык – задача большой трудности.

Евгений Ланн <1927>

¹ Ах, какие они идиоты! (фр.)

Моему другу Вилли Хату, умершему в Париже 3 Октября 1893 г.

С груди Господней, на которой ты покоишься... ниспошли на меня откровение; открой мне те истины, которые властвуют над смертью; мешают бояться ее и внушают почти любовь к ней.

Древние греки приносили на могилу своих мертвецов пироги, молоко и вино. Мы же, обольщенные более изысканной, если не более скромной мечтой, приносим им цветы и книги. Я отдаю вам эту книгу прежде всего потому, что она иллюстрирована². Несмотря на «легенды», она будет если не прочтена, то, во всяком случае, просмотрена всеми почитателями великой художницы, сделавшей мне с такой простотой этот великолепный подарок; та, о которой можно было бы сказать словами Дюма: «Это она после Бога создала наибольшее количество роз».

Я пожелал, чтобы на первой странице они увидели имя того, кого они не успели узнать и кем могли бы восхищаться. Я сам, дорогой друг, недолго знал вас. Я часто встречал вас в Булонском лесу; вы поджидали меня в тени деревьев, напоминая своим задумчивым, изящным видом одного из тех вельмож, которых писал Ван Дейк. Действительно, их изящество, так же как и ваше, кроется не столько в одежде, сколько в фигуре: кажется, будто ваша душа сообщает и непрерывно будет сообщать вашему телу это изящество. Это духовное изящество. К тому же все вокруг, вплоть до этого фона листвы, в тени которой Ван Дейк часто приостанавливал прогулку короля, подчеркивало это печальное сходство. Как и многим из тех, кто позировал ему, и вам суждено было рано умереть; и в ваших глазах тени предчувствия сменялись нежным сиянием покорности судьбе. Но если очарование вашего благородства родственно искусству Ван Дейка, таинственная интенсивность вашей духовной жизни напоминает Винчи. Часто, с поднятым пальцем, с непроницаемыми и улыбающимися глазами, глядящими в лицо тайне, о которой вы умалчивали, вы казались мне Иоанном Крестителем Леонардо. Мы мечтали тогда, почти создали план все более и более близкой совместной жизни в кругу великодушных и избранных мужчин и женщин, достаточно далеко от глупости, порока и злобы, для того чтобы чувствовать себя в безопасности от их пошлых стрел.

Ваша жизнь – та, к которой вы стремились, – была бы одним из тех произведений, создание которых требует высокого вдохновения. Это вдохновение может быть дано нам любовью, так же как оно дается нам верой и гением. Но вам суждено было получить его от смерти. И она, даже приближение ее, обладает скрытыми силами, тайными помощниками, «очарованием», которого лишена жизнь. Больные, так же как любовники в начале своей любви, как поэты, когда они слагают свои песни, острее и глубже чувствуют свою душу. Жизнь жестока, она слишком сильно связывает нас и непрерывно причиняет боль нашей душе. Сознание того, что узы ее ослабеют, может преисполнить нас сладостью ясновидения.

Когда я был еще совсем ребенком, ничья из судеб библейских мужей не казалась мне столь несчастной, как судьба Ноя, который из-за потопа был на сорок дней заточен в ковчег. Позже я часто болел и в течение многих дней тоже должен был оставаться в «ковчеге». Тогда я понял, что, только находясь в ковчеге, Ной мог видеть мир, несмотря на то что ковчег был заперт и на земле была ночь. Когда наступило мое выздоровление, моя мать, не покидавшая меня даже ночью, «открыла дверь ковчега» и вышла. Однако так же, как голубь, «она вернулась в тот же вечер». Потом я выздоровел окончательно, и, подобно голубю, «она не вернулась обратно». Пришлось снова вступить в жизнь, отвлекаться от самого себя, прислуши-

² Первое издание книги было иллюстрировано Мадлен Лемер. (Примеч. ред.)

ваться к речам более суровым, чем речи моей матери; а речи, до сей поры такие нежные, стали теперь иными, отмеченными суровостью жизни и долга, которым она должна была учить меня. Нежный библейский голубь, как поверить тому, что патриарх увидел отлет, не почувствовав печаль вместе с радостью по поводу возрождения мира? Сладость приостановившейся жизни, настоящего «отдыха Господня», приостановившая и работы, и низкие желания! Голуби из ковчега: «очарование» болезни, приближающей нас к реальному потустороннего мира, очарование смерти, очарование «суетных риз и тяжелого флера», волосы, «заботливо подобранные» докучной рукой, нежная верность матери или друга, являвшаяся нам в облике нашей собственной печали или в виде заступнического места, вызванного нашей слабостью, – вы улетаете, когда мы выздоравливаем! Как часто я страдаю оттого, что вы уже так далеко от меня. И даже тот, кто не пережил таких минут, дорогой Вилли, хотел бы уйти туда, где и вы. Мы берем так много обязательств перед жизнью, что наступает час, когда, отчаявшись в возможности выполнить их, мы обращаем свой взор на могилы и призываем «смерть, приходящую на помощь тем судьбам, которым трудно выполнить свои предначертания». Но если смерть освобождает нас от обязательств, которые мы взяли перед жизнью, она не может освободить нас от обязательств перед самим собой, и главным образом от первого – жить значительной и достойной жизнью.

Серьезней всех нас, вы в то же время были и ребячливей всех, не только чистотой своего сердца, но и очаровательной и искренней веселостью. Шарль де Гренсей обладал способностью, вызывавшей мою зависть, внезапно будить гимназическими воспоминаниями ваш смех, столь долго не умолкавший – смех, который нам уже не придется услышать вновь. Если некоторые из этих страниц были написаны в двадцать три года, многие другие («Виоланта» и др.) относятся к двадцатилетнему возрасту. Все это лишь бесполезная пена бурной, но теперь успокаивающейся жизни. Будет ли она когда-нибудь настолько прозрачной, что отразит на своей поверхности улыбки и пляски муз, удостоивших ее своим созерцанием? Я даю вам эту книгу. Увы! Вы единственный из моих друзей, чьей критики ей не нужно бояться. По крайней мере, я уверен в том, что нигде вы не будете шокированы фривольностью тона. Всегда я изображал безнравственность только тех людей, у которых чуткая совесть. Я мог говорить об этих людях, слишком слабых, чтобы стремиться к добру, и слишком благородных, чтобы в полной мере наслаждаться грехом, осужденных на одно лишь страдание, с жалостью, слишком искренней для того, чтобы она не очистила от скверны моих маленьких попыток. Пусть мой истинный друг, пусть знаменитый и горячо любимый Мэтр один прибавил к моей книге поэзию музыки, другой – музыку своей несравненной поэзии, пусть также Г. Дарлю, великий философ, чья вдохновенная речь, более долговечная, чем книга, вдохновила меня, – пусть они простят мне то, что я приберег для вас этот последний знак моей любви. Пусть они вспомнят, что каждый живой человек, как бы велик или дорог он нам ни был, должен быть почтен после мертвого.

Июль 1894

Смерть Бальдассара Сильванда, виконта Сильвани

I

По словам поэтов, Аполлон пас стада царя Адмета; каждый человек – также переодетый бог, который притворяется безумцем.

Эмерсон

– Не плачьте так, мсье Алексис, быть может, господин виконт Сильвани подарит вам лошадь.

– Большую лошадь, Бейпо, или пони?

– Может быть, и большую, такую, как у господина Кардениса. Но не плачьте так... Ведь вам исполнилось сегодня тринадцать лет.

Напоминание о том, что он может получить лошадь и что ему уже тринадцать лет, загло взор Алексиса: его глаза заблестали сквозь слезы. Но даже и это не могло успокоить его теперь, когда ему предстояло навестить дядю Бальдассара, виконта Сильвани. Правда, с тех пор, как Алексис услышал, что болезнь дяди неизлечима, он уже видел его несколько раз. Но с того времени многое изменилось. Теперь Бальдассар уже отдавал себе отчет в своей болезни и знал, что ему осталось жить самое большее три года. Не понимая, как эта уверенность могла не убить или не свести с ума его дядю, Алексис чувствовал, что он не сможет вынести горечи этой встречи. Он был уверен в том, что дядя будет говорить с ним о предстоящей смерти, и не находил в себе сил не только для утешений, но и для того, чтобы сдерживать рыдания. Он всегда боготворил своего дядю, самого рослого, самого красивого, самого молодого, самого веселого, самого нежного из родственников. Он любил его серые глаза, его светлые усы, его колени – уютное и нежное лоно для забав, прибежище в страшную минуту, в те дни, когда он был еще совсем мал. Эти колени казались ему тогда неприступными, как крепость, забавными, как деревянные лошадки, и более неприкосновенными, чем храм. Для Алексиса, явно порицавшего мрачный и строгий вид своего отца и мечтавшего о том времени, когда верхом на коне он будет элегантен, как дама, и великолепен, как король, Бальдассар являлся идеалом мужчины; он знал, что его дядя красив, что он – Алексис – похож на него; знал он также, что дядя умен, великодушен и так же могуществен, как епископ или генерал. Правда, из замечаний своих родителей он узнал, что у виконта имеются недостатки. Он помнил даже буйный гнев дяди в тот день, когда кузен Жан Галеас подтрунивал над блеском его глаз, выдавшим его тщеславную радость, когда герцог Пармский предложил ему руку своей сестры; пытаясь скрыть свое удовольствие, он стиснул зубы и сделал свою обычную гримасу, которая так не нравилась Алексису. Он помнил и его презрительный тон в разговоре с Лукрецией, которая бравировала тем, что не любит его музыку.

Часто его родители намекали на другие неизвестные Алексису поступки дяди и горячо осуждали их.

Несомненно, теперь все недостатки Бальдассара и его пошлая гримаса исчезли. Какими, вероятно, безразличными сделались для дяди насмешки Жана Галеаса, дружба герцога Пармского и его собственная музыка после того, как он узнал, что его, может быть, года через два ждет смерть. Алексис представлял его себе таким же красивым, но торжественным и еще более совершенным, чем раньше. Да, торжественным и уже как бы не от мира сего! Кроме того, к его отчаянию примешивалось некоторое беспокойство и страх. Лошади уже давно были запряжены, нужно было ехать; он сел в экипаж, потом снова вышел для того, чтобы в последний раз посоветоваться со своим наставником. Во время разговора он вдруг сильно покраснел:

– Господин Легран, что лучше – чтобы дядя думал, будто я знаю о его близкой смерти или не знаю?

– Пусть лучше думает, будто вы не знаете!

– Но если он заговорит со мной об этом?

– Он с вами об этом не заговорит.

– Не заговорит? – спросил Алексис с удивлением, так как это было единственной возможностью, которой он не предвидел: каждый раз, как он начинал представлять себе свидание с дядей, он слышал, как тот с кротостью священника говорит ему о смерти.

– Но все-таки, если он заговорит об этом?

– Вы скажете, что он ошибается.

– А если я заплачу?

– Вы слишком много плакали сегодня утром, вы не будете больше плакать.

– Я не буду плакать! – с отчаянием в голосе закричал Алексис. – Но тогда он подумает, что я не опечален, что я не люблю его... мой милый, дорогой дядя!

И он снова залился слезами. Его мать, выведенная из терпения ожиданием, пришла за ним; они уехали.

Алексис отдал свое пальто стоящему в передней лакею в зеленой ливрее с белыми нашивками и гербами Сильвани и одновременно с матерью остановился на мгновение, чтобы послушать доносившуюся из соседней комнаты скрипку. Затем их ввели в огромную круглую комнату со стеклянными стенами. В этой комнате часто проводил время виконт. Войдя в комнату, вы видели перед собой море, повернув голову – луга, пастбища и леса, а в глубине комнаты – двух кошек, розы, маки и много музыкальных инструментов.

Они прождали несколько минут. Алексис бросился к матери; она подумала, что он хочет поцеловать ее, но он совсем тихо, прильнув к ее уху, спросил:

– Сколько лет дяде?

– Ему исполнится тридцать шесть лет в июне.

Он хотел спросить: «Ты думаешь, что ему никогда не исполнится тридцать шесть?» – но не посмел.

Дверь открылась, Алексис задрожал, слуга сказал:

– Мсье виконт сейчас здесь будет.

Вскоре слуга снова вернулся, впуская в комнату двух павлинов и козленка, которых виконт всюду водил за собой. Потом послышались другие шаги, и дверь снова открылась.

«Это ничего, – сказал самому себе Алексис, у которого от каждого звука сердце начинало усиленно биться, – очень возможно, что это слуга». Но в то же время он слышал, как нежный голос произнес:

– Здравствуй, мой маленький Алексис, поздравляю тебя.

Поцелуй дяди испугал его. По всей вероятности, дядя заметил это и, перестав обращать на него внимание, чтобы дать ему возможность прийти в себя, стал весело беседовать с матерью Алексиса, своей невесткой, которая после смерти его собственной матери сделалась для него любимейшим существом на свете. Теперь, успокоившись, Алексис не чувствовал ничего, кроме огромной нежности к этому молодому, еще такому очаровательному, чуть-чуть побледневшему человеку, который так геройски притворялся веселым в эти трагические минуты. Ему хотелось бы броситься ему на шею, но он не смел, боясь сломить энергию дяди: он не сумел бы после этого владеть собою. Печальный и нежный взгляд дяди особенно внушал ему желание плакать. Алексис знал, что глаза виконта всегда были печальны и даже в самые счастливые минуты как бы молили об утешении в страданиях, которые он, казалось, испытывал. Но в этот момент он подумал, что печаль, мужественно изгнанная из его речей, приютилась в его глазах; и во всем его существе были искренними только эти глаза и похудевшие щеки.

– Я знаю, мой маленький Алексис, – сказал Бальдассар, – что тебе бы хотелось править парой лошадей, запряженной в экипаж; завтра тебе приведут лошадь. В будущем году я подарю тебе вторую, а через два года ты получишь экипаж. Но в этом году ты, быть может, сможешь ездить верхом; мы попробуем, когда я вернусь. Я окончательно решил ехать завтра, – прибавил он, – но ненадолго. Я вернусь раньше чем через месяц, и мы отправимся вместе с тобой посмотреть комедию, которую я обещал тебе показать.

Алексис знал, что дядя проведет несколько недель у одного из своих друзей; он знал также, что виконту еще разрешали посещать театр. И хотя весь он был проникнут мыслью о смерти, которая так глубоко потрясла его перед приездом сюда, – все же слова дяди мучительно и глубоко удивили его.

«Я не пойду, – сказал он самому себе. – Как он должен будет страдать от шутовства актеров и смеха публики!»

– Что это за красивая ария, которую мы слышали, когда пришли сюда? – спросила мать Алексиса.

– А! она понравилась вам? – быстро проговорил Бальдассар с радостным видом. – Это тот романс, о котором я говорил вам.

«Притворяется ли он? – спросил самого себя Алексис. – Каким образом его еще может радовать впечатление, произведенное его игрой?»

В этот момент на лице виконта появилось выражение глубокого страдания; он побледнел, сжал губы, нахмурил брови; глаза его наполнились слезами.

«Господи! – внутренне закричал Алексис. – Эта роль не под силу ему. Бедный дядя! Но почему же он так боится огорчить нас? Зачем он принимает всю тяжесть на себя?»

Но внезапно вызванные общим параличом боли, временами сжимавшие тело Бальдассара, словно железным корсетом, прекратились.

К нему вернулось хорошее настроение, и, смахнув слезы, он снова заговорил.

– Мне кажется, что с некоторых пор герцог Пармский с тобой не так любезен, как прежде; так ли это? – некстати спросила мать Алексиса.

– Герцог Пармский! – закричал Бальдассар. – Герцог Пармский недостаточно любезен! Почему вы так думаете, моя дорогая? Еще сегодня утром он написал мне, что предоставит в мое распоряжение свой Иллирийский замок, если горный воздух полезен мне.

Он стремительно поднялся, но тотчас же почувствовал жестокую боль и должен был на мгновение остановиться; как только боль утихла, он крикнул слуге:

– Принесите мне письмо, которое лежит на столике у кровати.

И он стал быстро читать:

«Мой дорогой Бальдассар,
как я соскучился по Вас и т. д., и т. д.»

По мере того как обнаруживалась любезность принца, лицо Бальдассара смягчалось, озарялось выражением счастливой уверенности в себе. И вдруг, желая, по всей вероятности, скрыть радость, которую считал не слишком возвышенной, он стиснул зубы и сделал красивую пошлую гримасу, которая, по мнению Алексиса, была навеки изгнана с его умиротворенного близостью смерти лица.

Эта гримаса, как и прежде образовавшая складки у губ Бальдассара, открыла глаза Алексису; все время, пока он находился возле дяди, ему хотелось созерцать лицо умирающего, навсегда освобожденного от выражения пошлой повседневности, – лицо, на котором могла мелькать лишь одна геройски вынужденная, печально-нежная, небесная и разочарованная улыбка; теперь он больше не сомневался в том, что, поддразнивая дядю, Жан Галеас, как и прежде, вызвал бы его гнев; теперь он больше не сомневался, что в веселости больного, в его

желании пойти в театр не было ни притворства, ни мужества, что Бальдассар, стоящий так близко к смерти, продолжал думать только о жизни.

Когда Алексис вернулся к себе, его глубоко поразила мысль, что когда-нибудь умрет и он, а если ему осталось жить гораздо больше, чем дяде, то и кузина Бальдассара, герцогиня д'Алериувр, и его старый садовник, по всей вероятности, не намного переживут виконта. Однако садовник Рокко, достаточно богатый для того, чтобы уйти на покой, продолжал работать, чтобы заработать еще больше денег, и старался получить премию за свои розы. Герцогиня, несмотря на свои семьдесят лет, очень старательно подкрашивалась и платила за те статьи в газетах, в которых прославляли ее юную походку, великолепие ее вечерних приемов, тонкость ее ужина и ума.

Эти примеры не заглушили удивления, в которое повергло Алексиса поведение дяди; наоборот, увеличиваясь все больше и больше, оно выросло в изумление по поводу постыдного поведения людей, из числа которых он не исключал и себя: приближаясь к смерти, люди пятились назад, продолжая видеть только жизнь.

Он решил не следовать этому неприятному заблуждению, а взять пример с древних пророков, слава которых была ему известна из учебников, и удалиться в пустыню с несколькими из своих товарищей; он сообщил об этом решении своим родителям.

К счастью, сама жизнь оказалась еще более могущественной, чем их насмешки: желая отвлечь его от этих мыслей, она подставила ему свою грудь, которую он еще не успел дососать – грудь, наполненную сладким молоком, укрепляющим силы. И он снова с радостной жадностью принялся пить этот напиток, изменяя его вкус силой своего воображения.

II

Увы, печальна плоть...

Малларме

На другой день после посещения Алексиса виконт Сильвани отправился на три-четыре недели в соседний замок, где многочисленное общество могло бы рассеять печаль, почти всегда сопровождавшую его припадки.

Радость пребывания его в замке питалась присутствием одной молодой женщины, которая, разделяя эту радость, делала ее вдвойне прекрасной. Ему показалось, что она любит его, но все же в отношениях с ней он сохранил некоторую сдержанность: он знал, что она абсолютно чиста и, кроме того, с нетерпением ждет приезда своего мужа; к тому же он не был уверен в том, что действительно ее любит, и смутно понимал, как грешно было бы склонять ее на бесчестный поступок. Когда именно их отношения изменились – этого вспомнить он не мог. Теперь, как бы в силу молчаливого согласия, момент возникновения которого он не смог бы определить, он целовал кисти ее рук и обнимал ее, она казалась такой счастливой, что однажды вечером он позволил себе пойти дальше; он начал с поцелуев; затем долго ласкал ее и снова стал целовать ее глаза, щеки, губы, шею. Ее улыбающиеся губы тянулись к его губам, а глубина глаз блистала, как согретая солнцем вода. Ласки Бальдассара сделались более смелыми; но, взглянув на нее, он был поражен ее бледностью и выражением бесконечного отчаяния ее мертвенного лба, ее удрученных и усталых глаз, плакавших без слез, как бы от крестной муки или безвозвратной потери любимого существа. Он наблюдал ее в течение минуты; и вот с величайшим усилием она подняла на него умолявшие о пощаде глаза, в то время как ее жадный рот, бессознательным и судорожным движением, требовал новых поцелуев. Вновь отдавшись очарованию, разлитому в воздухе, в благоухании их поцелуев, в воспоминании об их ласках, они бросались друг к другу, закрыв глаза, – жестокие глаза, выдававшие их душевную муку. Они не хотели знать о ней. В особенности он старался не открывать глаз, как мучимый раска-

янием палач, чувствующий, что его рука может дрогнуть в момент нанесения удара жертве. Он боялся увидеть вместо волнующего, влекущего к страстным ласкам образа ее подлинное лицо и вновь ощутить ее страдание.

Наступила ночь, а она все еще оставалась в его комнате; ее блуждающие глаза были сухи. Она ушла, не сказав ему ни единого слова, со страстной печалью поцеловав его руку.

Он, однако, не мог заснуть и, забывшись на мгновение, вздрагивал, чувствуя на себе взгляд умоляющих глаз своей кроткой жертвы. Вдруг он представил себе, что и она сейчас не может заснуть и чувствует себя бесконечно одинокой. Он оделся, осторожно дошел до дверей ее комнаты, боясь произвести малейший шум, чтобы не разбудить ее, если она заснула. Но вернуться в свою комнату, где небо и земля и его собственная душа подавляли его своей тяжестью, – он также боялся. Он остался здесь, на пороге ее комнаты, чувствуя, что каждую минуту может потерять власть над собой и войти к ней; потом он ужаснулся при мысли, что нарушит это сладкое забытие, это нежное, ровное дыхание, этот краткий отдых для того, чтобы снова отдать ее во власть угрызений совести и отчаяния. И он остался здесь, у порога, то присаживаясь, то становясь на колени, то ложась на пол. Утром, озябший и успокоившийся, он вернулся в свою комнату, долго спал и проснулся в радостном настроении. Каждый из них умудрялся успокоить совесть другого; они привыкли к ослабевающим угрызениям совести, к наслаждениям, которые также стали менее остры, и, вернувшись к себе в Сильвани, он, как и она, сохранил об этих пламенных и жестоких минутах лишь приятное, но холодное воспоминание.

III

Юность оглушает его, он не слышит.

Мадам де Севинье

В день своего рождения, когда Алексису исполнилось четырнадцать лет, он отправился навестить дядю Бальдассара, но, вопреки своим ожиданиям, не пережил вновь волнений прошлого года. Бесперывная езда на лошади, полученной в подарок от дяди, развивая его силы, уничтожила всю его вялость и оживила в нем то постоянное ощущение здоровья, которое сопутствует молодости, как неясное сознание глубины ее возможностей и мощи ее веселья.

Подымая ветер бешеным галопом, он чувствовал, что грудь его вздувается, словно парус, тело пылает, как печь в зимний день, а лоб так же прохладен, как мелькающая мимо него и задевавшая его на пути листва; по возвращении домой он ощущал, как напрягается под струей холодной воды его тело или как предается оно длительному отдыху, переваривая вкусный обед; все это возбуждало в нем те жизненные силы, которые прежде являлись гордостью Бальдассара, а теперь навсегда покинули его для того, чтобы тешить более молодые сердца и когда-нибудь им изменить.

Изнемогать при виде слабости дяди и умирать, вспоминая о предстоящей виконту смерти, Алексис больше уже не мог. Веселый шепот крови и желаний мешал ему слышать слабые жалобы больного. Алексис вступил в тот пламенный период жизни, когда тело воздвигает свои замки на пути между собой и душой с такой энергией, что душа как бы исчезает до того дня, пока болезнь или горе не пробьют скорбной расселины, на краю которой она появится вновь.

Он привык к смертельной болезни дяди так, как привыкают ко всему, что происходит вокруг нас, и хотя дядя продолжал жить, Алексис обращался с ним как с мертвым и начинал забывать о нем оттого, что однажды оплакивал его, как оплакивают мертвых.

И когда дядя сказал ему в этот день: «Мой маленький Алексис, я дарю тебе экипаж вместе со второй лошадей», – он понял, что дядя думал про себя так: «иначе ты рисковал бы никогда

не получить экипажа»; и хотя он знал, что эта мысль была очень печальной, но не реагировал, как раньше, ибо теперь он уже не был способен на глубокую печаль.

Спустя некоторое время, читая одну книгу, он был поражен образом злодея, которого не растрогали самые нежные предсмертные слова обожавшего его больного. Когда наступил вечер, страх, что он похож на этого злодея, помешал ему уснуть. Но на другой день он совершил такую великолепную прогулку верхом, так хорошо поработал, почувствовал такую нежность к своим родителям, что снова со спокойной совестью стал наслаждаться жизнью и спать по ночам.

А меж тем виконт Сильвани, который уже двигался с трудом, почти не выходил из замка. Его друзья и родные проводили с ним все дни. В каком бы безумном и достойном порицания поступке он ни сознался, какой бы ни бросил парадокс, какие бы постыдные недостатки ни обнаружил, – его родные не упрекали его ни в чем, а друзья не позволяли себе ни насмехаться, ни противоречить. Казалось, что по молчаливому соглашению с него была снята ответственность за его поступки и слова. И казалось, что было приложено особое старание для того, чтобы помешать ему прислушиваться к последней скрежещущей боли тела, расстающегося с жизнью; для этого они обволакивали его нежностью, словно ватой, или побеждали его боли исключительным вниманием.

Он проводил долгие и очаровательные часы наедине с самим собою – с единственным гостем, которого он небрежно забывал пригласить на ужин в течение своей жизни. Он ощущал меланхолическую радость, наряжая свое страждущее тело, и покорно созерцал море, опираясь локтем на подоконник. Со страстной печалью, как бы исправляя художественное произведение, он вносил все новые и новые подробности в давно обдуманную им сцену своей смерти и окружал ее земными образами, которыми еще был полон; они удалялись от него и потому казались туманными и прекрасными. Ему уже рисовалось в воображении прощание с его платонической любовью – герцогиней Оливианой, в салоне которой царствовал он, несмотря на присутствие самых высокопоставленных вельмож, самых знаменитых артистов и самых великих умов Европы. Ему казалось, что он уже читает повествование об их последней встрече:

«... Солнце уже зашло, видневшееся сквозь листву яблонь море было цвета мов. Маленькие голубые и розовые облака, легкие, как бледные увядшие венки, и бесконечные, как печали, плыли на горизонте. Ряд грустных тополей погружал в тень розовый купол церкви; последние лучи солнца, не касаясь их стволов, обагрляли их ветви, украшая эти тенистые балюстрады гирляндами света. Ветер сплавил три благоухания – моря, влажных листьев и молока. Никогда еще поля Сильвани не дышали такой сладострастной меланхолией, как в этот вечер.

– Я очень любила вас, но я мало дала вам, мой бедный друг, – сказала она.

– Что вы говорите, Оливиана? Как вы могли дать мне мало? Вы дали мне больше, чем я мечтал, и поистине гораздо больше, чем в том случае, если бы к нашей нежности примешалась чувственность. Я боготворил вас – неземную, как Мадонна, нежную, как кормилица, и вы баюкали меня, как младенца. Я любил вас той любовью, чуткая прозорливость которой не была смущена ни единой надеждой на радость физической близости. И разве вы не предложили мне взамен несравненную дружбу, превосходный чай, простую и изящную беседу и так много свежих роз? Только вы одна своими материнскими и сильными руками умели охладить мой пылавший лихорадочным жаром лоб, смочить живительным бальзамом мои увядшие губы, наполнить мою жизнь благородными образами.

– Милый друг, дайте мне поцеловать ваши руки...»

Только равнодушие Пии, которую он продолжал любить всем телом и всей душой, – равнодушие маленькой сиракузской княжны, охваченной непобедимой любовью к Каструччо, – время от времени вновь возвращало его к более жестокой действительности, которую он ста-

рался забыть. До самого последнего времени он еще продолжал иногда посещать балы и, прогуливаясь под руку с Пией, думал, что этим унижает своего соперника; но даже здесь, идя рядом с ней, он чувствовал по рассеянному выражению ее глубоких глаз, что она поглощена другой любовью и что только из жалости к его болезни она пытается это скрыть.

А теперь он не был больше способен даже и на это. Он настолько перестал владеть своими ногами, что не мог больше выходить из дому. Но она часто приходила навещать его и, как бы сделавшись сообщницей заговора его друзей и родных, постоянно говорила с ним тоном деланой нежности, никогда не проявляя, как прежде, вспышек своего равнодушия или гнева. И эта нежность больше, чем чья-либо другая, навела на него успокоение и восхищала его.

Но вот однажды, когда он поднялся со своего стула для того, чтобы пойти к столу, слуга с удивлением заметил, что он ходит гораздо лучше, чем раньше. Он велел позвать доктора, который решил временно не высказываться по этому поводу. На другой день он ходил хорошо. Через восемь дней ему разрешили выйти. Его родные и друзья преисполнились надежд. Доктор предположил, что, может быть, какая-нибудь простая, излечимая нервная болезнь дала симптомы общего паралича, которые теперь начинают исчезать. Он высказал Бальдассару свое предположение в форме уверенности; он сказал ему:

– Вы спасены!

Приговоренный к смерти принял эту милость с волнением и радостью. Но через некоторое время, когда улучшение сделалось еще более очевидным, сквозь эту радость, уже успевающую ослабеть, в силу непродолжительной привычки, – стало пробиваться острое беспокойство. Вдали от превратностей жизни, в благосклонной атмосфере окружавшей его нежности, вынужденного спокойствия и праздного размышления, бессознательно зародилось в нем желание смерти. Он был еще далек от того, чтобы осознать это, и почувствовал лишь неясный страх при мысли о том, что снова придется жить, терпеть удары судьбы, от которых он отвык, и лишиться окружавшей его нежности. И еще: он смутно почувствовал, что было бы нехорошо забыться в удовольствиях или работе теперь, когда он познакомился с самим собою, с этим родным незнакомцем, часами беседовавшим с ним, в то время как он следил за плывущими по морю лодками, – с незнакомцем, который был так далеко и так близко от него – в нем самом. Он чувствовал теперь, что в нем, как в юноше, который не знал о месте своего рождения, просыпается любовь к новой, еще неведомой родине, испытывал тоску по смерти, которая прежде представлялась ему вечной ссылкой.

Как-то он стал развивать одну идею, и кузен его Жан Галеас, зная, что он выздоровел, начал неистово противоречить ему и подтрунивать. Невестка Бальдассара, которая в течение двух месяцев посещала его ежедневно утром и вечером, уже два дня у него не была. Это было слишком жестоко. Он давно уже отвык от тягостей жизни и не хотел познавать их вновь. Очарования жизни еще не успели снова овладеть им. Постепенно к нему вернулись силы, а вместе с ними и желание жить; он начал выходить из дому, снова вошел в жизнь и вторично потерял самого себя. Через месяц вновь обнаружились симптомы общего паралича. Мало-помалу, как и прежде, он снова перестал ходить; эта перемена произошла постепенно, и у него было достаточно времени, чтобы привыкнуть к своему возвращению к смерти. Рецидив болезни уже не обладал преимуществом первого приступа, к концу которого Бальдассар, удалившись от жизни, начал созерцать ее как картину, лишённую всего реального. Наоборот, теперь он делался все более и более тщеславным, раздражительным, горячо сожалея о недоступных ему наслаждениях.

Только нежно любимая им невестка, посещавшая его несколько раз на день вместе с Алексисом, вносила некоторое успокоение в эти последние его дни.

Однажды, после обеда, когда, отправившись навестить виконта, она подъезжала к его дому, ее лошади чего-то испугались и понесли; она была выброшена из экипажа, смята мчав-

шимся мимо всадником и в бессознательном состоянии, с раскроенным черепом, принесена к Бальдассару.

Кучер, оставшийся невредимым, немедленно явился к виконту, чтобы сообщить ему о несчастном случае. Лицо виконта пожелтело, вылезшие из орбит глаза засверкали, он стиснул зубы; в припадке страшного гнева он обрушился на кучера. Но казалось, что этими вспышками бешенства он пытался заглушить горькие, еле слышные стоны, как будто какой-то больной человек жаловался виконту на свою судьбу. И вскоре эта слабая вначале жалоба заглушила его бешеные крики, и виконт, рыдая опустился на стул.

Потом он пожелал умыться, чтобы не расстроить невестку следами слез. Слуга печально покачал головой: больная не приходила в сознание. Виконт провел два безнадежных дня и ночи у ее постели. С минуты на минуту она могла умереть. На вторую ночь решились на рискованную операцию. На третье утро жар спал, и больная, улыбаясь, смотрела на Бальдассара, который не мог больше сдерживать своих слез и не переставая плакал от радости. Когда смерть подходила к нему медленными шагами, он не хотел ее замечать; теперь он внезапно встал с ней лицом к лицу. Она испугала его, угрожая тому, что было для него дороже всего; он умолял ее, и она смилостивилась.

Себя он чувствовал сильным и свободным, гордым от сознания, что его собственная жизнь представляла для него меньшую ценность, чем жизнь его невестки; он настолько же хотел сохранить ее жизнь, насколько презирал свою. Теперь он смотрел в лицо самой смерти и не думал больше о сопровождающих ее поэтических сценах. Он мечтал остаться таким до самого конца – свободным от лжи, которая, обставляя его последние минуты пышностью и славой, довела бы свою низкую роль до конца, осквернив таинство его смерти так, как осквернила уже таинство его жизни.

IV

Завтра, завтра – одно и то же завтра!
Оно скользит до самого конца,
И по складам, как книга, жизнь уходит.
Вчерашний день глупцам лишь освещал
В могилу путь. Так догорай, свеча!
Жизнь? – Тень! Несчастный шут,
Кривляющийся на подмостках,
Забытый скоро. Жизнь – сказка
В устах глупца. Пустыми фразами
Она гремит, но смысла нет в ней.

Шекспир. Макбет

Волнение и усталость Бальдассара, вызванные несчастным случаем с его невесткой, ускорили ход его болезни. От своего духовника он узнал, что не проживет и одного месяца.

Было десять часов утра, лил дождь. Какой-то экипаж подъехал к замку. Это была герцогиня Оливиана. Тогда он сказал самому себе, что – мысленно – хорошо разукрасил сцену своей смерти:

«Это случится светлым вечером. Солнца уже не будет. Виднеющееся сквозь листву яблонь море будет цвета мов. Маленькие голубые и розовые облака, легкие, как бледные увядшие венки, и бесконечные, как печали, будут плыть на горизонте...»

Но случилось это иначе: герцогиня Оливиана приехала к нему в десять часов утра; небо низко придвинулось к земле и было грязным; шел проливной дождь; утомленный своей болезнью, уже всецело во власти более возвышенных мыслей, уже не ощущая прелести того, что раньше казалось ему наградой, очарованием и утонченным торжеством жизни, он попросил сказать герцогине, что слишком слаб и не может принять ее. Она настаивала, но он не принял ее. Он сделал это даже не из чувства долга; герцогиня уже не существовала для него. Смерть стремительно оборвала узы рабства, которых он так боялся несколько недель назад. Он пытался думать о ней, но эти воспоминания ничего не говорили ни его уму, ни фантазии и тщеславию, умолкнувшим навсегда. Однако приблизительно за неделю до смерти объявление бала у герцогини Богемской, где Пиа должна была танцевать котильон с уезжавшим назавтра в Данию Каструччо, с неукротимой силой разбудило его ревность. Он попросил привезти к нему Пию. Его невестка слабо воспротивилась этому; он решил, что ему хотят помешать видиться с ней, решил, что его преследуют, и рассердился; для того чтобы не огорчать его, за ней отправились немедленно.

Когда Пиа приехала, он был совершенно спокоен, но погружен в глубочайшую печаль. Он привлек ее к своей кровати и немедленно заговорил о бале герцогини Богемской. Он сказал ей:

– Мы не были родственниками, вы не будете носить траура по мне, но мне хочется, чтобы вы исполнили одну мою просьбу: обещайте мне, что вы не пойдете на этот бал.

Они смотрели друг другу в глаза, вкладывая в этот взгляд свои печальные и страстные души, не примиренные друг с другом даже смертью. Он понял, что она колеблется, горестно сжал губы и совсем тихо произнес:

– О! лучше не обещайте ничего! Не изменяйте слову, данному умирающему. Если вы не уверены в себе, лучше не обещать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.